Валентин Пикуль «Слово и дело»
Роман-хроника (главы)

Ночь была над Уфой — перепрелая, душная. Окно в избе перед спаньем открыли. Хорошо и вкусно пахло от казачьих хлевов навозцем. Кирилов лежал на полатях с женою, добротной супружницей своей, на печи примостился сынок их — Петенька.

— Батюшка, — спросила жена, — почто не спишь, а маешься?

— Ульяны Петровны, — отвечал ей Кирилов, — мне сегодня от ханов степных взятка была предложена.

— Много ль? — оживилась жена, светлея лицом в потемках.

— А такая, что и на возу не увезем…

— За што ж тебе, батюшка, милость така от ханов выпала?

— А за то, мать моя, чтобы я город Оренбург в месте намеченном не фундовал. И вот я не сплю, размышляя. Коли ханам степным Оренбург на сем месте неудобен кажется, знать, именно там город ставить и надобно для пользы русской… А теперь — спи!

***

После молебна тронулись. Пятнадцать маршевых рот взяли шаг. В разливы трав поскакали казаки, мещеряки и башкиры.

Кирилов шел в поход, окруженный купцами индийскими и ташкентскими. Ботаник Гейнцельман в котомку травы редкие собирал; ведал он историю древнюю, географию мира, геральдику, юриспруденцию — собеседник занятный. А живописец Джон Кассель умудрялся из седла шаткого виды разные в альбом зарисовывать.

От рудознатцев Кирилов получал известия радостные:

— Нашли соль и яшму… медь и порфир… серебро, мрамор!

Кирилов, словно кот на сметану, глаза в удовольствии жмурил: «Бывать России красавице увешанной камнями драгоценными!» Мамет Тевкелев, мурза в чине полковничьем, скакуна шпорами истерзал, холмы обскакивая. Ногайкой — вразлет — убивал лис и зайцев безжалостно. Вечером караван экспедиции нагнал казак яицкий — иссечен саблями, мотало его в седле, как пьяного, борода вся в крови.

— Башкирцы напали! — орал. — Людей побили, возы пограбили!

Побитых захоронили, а возы с припасами так и сгинули в степи. Ночью, сидя у костерка, Кирилов отписывал в Петербург, чтобы там не пугались. Зло башкирское он пригладил, сколько мог, для выгод будущих. А то ведь (он знал) в столице народишко трусоват: велят оглобли ему обратно ворочать, тогда — прощай все… Ехали далее. Иногда наведывались к нему послы башкирские и киргизские. Просили города не строить, иначе бунт учинен будет. И запели над головами первые стрелы пернатые, запылали по холмам костры сигнальные — враждебные.

По ночам кто-то, тяжкий реющий, словно демон, проскакивал мимо лагеря, сгинув стремительно — в топоте, в вое, в ржанье…

— Не бойсь! — говорил Кирилов. — Напужать нас желают.

Провиант кончился. Шли голодные. На ночевках окружали себя кострами, вглядываясь во тьму. Одни лишь казаки, ко всему привычные, сигали во мрак и возвращались под утро с бурдюками, полными башкирской бузы — пьяной и резкой; подвыпив, казаки беззлобно «бузили». В лесах почасту встречали бортников; боясь множества всадников, они быстро, как белки, залезали на деревья, скрываясь в густой листве, где тяжело и медвяно гудели пчелиные дупла. Иногда же отряд вступал на обширные луговые поляны, а там, в зное сладком, томились средь душистых трав долбленые колоды ульев; старики и пасечники в белых рубахах (очень похожие на русских) пластали ножами зыбкий и яркий мед. Кирилов не обижал людей промышленных, всех бортников и пасечников одаривал от души.

Достигли яма Стерлитамакского: сельцо убогонькое, но зато на диво живописно глядится в речные заводи, — от Стерлитамака уже повеяло жаром степным. Из пещерных дыр рвался воздух — то горячий, то льдяный. Ржали кони, гарцуя в робости. За сосновыми перелесками плеснуло в глаза путникам зернь песками, черными буграми распухали под ветром кочевые юрты. Когда же подошли ближе — ни юрт, ни кочевников: снялись все разом и ушли стремглав, пришельцев с севера убоясь… В последний раз брызнуло ярким цветом из зелени, и потекла навстречь песчаная желть. А в этой желти блеснули воды Орские — конец пути.

Кирилов устало свалился из седла на землю. Шагнул к реке, камыши раздвигая. До чего же быстро текли воды! Виднелось дно чистенькое. На глубине, будто острые мечи, зигзагами метались темные рыбины. Нагнулся статский советник и зачерпнул воды ладонью, опробуя ее. Орская вода имела привкус горечи, едва внятной. Но пить ее можно!

— Компанент разбить тута, — повелел Кирилов. — Оренбургу стоять на сем месте. И с нею более никуды не стронемся…

Дикие тарпаны мчались, еще не ведая узды человека, прямо через лагерь. Били копытом людей, и кроваво светился их глаз… Крепость закладывали в девять бастионов, а при них — цитадель малая. Избы приказные. Изба пробирная, где руды химически изучать. Гарнизон и артиллерия вошли в крепость Оренбурга, как входят в дом, чинно и благолепно. Трижды, уставясь в марево южных стран, лупанули в небо из пушек (безъядерно), салютуя новому русскому городу, — городу в Новой России!

Из-за гор уже понаехали богатые башкиры и киргизы, понаставили вокруг кибиток, долго издали присматривались они к быту крепости. Явились до Кирилова и, низко кланяясь, благодарили за постройку города.

— Теперь, — говорили ханы Кирилову, — ты уходи отсюда, здесь мы жить станем. А царице поклон скажи… молодец баба царь!

Кирилов на это ханам так отвечал:

— Не за тем пришли, чтобы, город основав, уйти.

— Тогда с четырех дорог войною пойдем… Це це це!

— Я с миром прибыл сюда. Вместе с вами в мире жить будем.

— За миром с пушкой не ходят. А ты пушку привез…

— Пушка зверь такой: ты ее не дразни, и она тебя не тронет.

О просвещении и благополучии края радея, Кирилов надеялся, что и помощники ему таковы же станутся. Однако не так: толмач-полковник Мамет Тевкелев, живя побытом грабительским, хватал старейшин башкирских. Кирилов ласкою привлекал калмыков, киргизов и башкир: зазовет к себе, угощает и слова не скажет, когда старейшины со стола его все ложки, тарелки и бутылки с собой унесут. Чего с них взять-то? Посуда — дело наживное, тарелки с вилками — тьфу! Они ведь не дороже Новой России. Но великая трагедия жизни для Кирилова уже определилась…

— Гей, гей, гей! — прокричала в Петербурге царица, трижды хлопнув в ладоши. — Человек мне потребен бывалый, крови людской не боящийся, дабы башкирцев усмирить… Кто годен?

***

Александр Иванович Румянцев — после того, как доказал императрице, что финансов в России отродясь не бывало, — прозябал в казанских деревнишках.

Утром генерала разбудили — кто то скачет со стороны леса. Встал. Молитву скорую сотворил. Чарку водки приял «стомаху ради». Примчался курьер, и Румянцев его принял в избе.

— Откель? — спросил, весь в суровости озлобленной.

— От матушки осударыни ея величества Анны кроткия.

— Та-а-ак, — задумался Румянцев и шомполом коротким туго забил в пистолет пулю; оружие возле локтя придержал, а пакет от царицы принял. — Разумение мое таково, — сказал. — Коли из столицы меня для худого ищут, так я вот… сразу же пулю в лоб себе запущаю. Ну а коли милость… что ж, еще послужу! Анна Иоанновна сообщала указ сенатский: ехать ему в земли Башкирские, порядок в тех краях навесть, башкир и киргизов отечески вразумлять, но, коли в разуме не явятся, тогда поступать прежестоко, крови не бояся… Румянцев слуг позвал:

— Стриги бороду мне под корень… Бриться! Баню топить. Мундир давай. Лошадей закладывай. Еду!..

Дорога дальняя, и, пока он ехал, Кирилов времени даром не терял. И другим житья спокойного не давал. У него в экспедиции все трудились. Геодезисты край исходили, по картам его разнося; плавали по рекам, пристани намечая. Уже готовилась первая карта земель Башкирских, а карта — суть основа всего. Виделись уже в будущем заводы великие, рудники медные и шахты разные. Гейнцельман открывал не виданные на Руси травы, копал древние

курганы и могильники; живописец Джон Кассель (человек по молодости азартный) в такую глушь забирался, где с него, о живого, чуть шкуру однажды не спустили. А другом верным Кирилову стал бухгалтер — Петр Рынков, безвестный паренек из Вологды, где набрался ума разума от пленных шведов, и был Рычков до всего жаден, до всего охоч.

— Запоминай, Петруша, что деется, — советовал ему Кирилов.

— Может, на старости лет, когда меня не будет, сядешь историю писать оренбургскую… От этой крепостцы Россия и дале пойдет, приводя народы здешние к повиновению. От Оренбурга нашего уже сейчас надо бы идти дальше… до Ташкента! до Туркестана! А бунтующие орды уже осаждали Мензелинск, многие города разорили; в Уфимском воеводстве пожгли и пограбили деревни мещеряков и тех башкир, которые бунтовать противу России не желали. Под осень Кирилов выступил с отрядом из Оренбурга на Уфу, и по дороге им пришлось биться насмерть, чтобы живыми выбраться. В тучах пыли оседали кони, ржали прямо в лицо, и под пулями солдат, рея халатами, тупо бились головами в землю башкирские всадники… До Уфы он прошел, но каково то теперь гарнизону зимовать в Оренбурге? Да, хорошо было мечтать над картами в кабинетах петербургских, и совсем не то получалось, когда ландкарта обрела суть лицезрения и ощущалась под ногами как земля Новой России… Книжки, атласы, глобусы и астролябии — все это осталось валяться в обозах, а перед наукою привозною пошли в авангарде пушки, конница и пехота.

Татищев донимал его доносами, вредил посильно, а тут и без того сердце болело… Опять пошла горлом кровь!

***

Румянцев прибыл в Мензелинск и застрял там надолго. На постоялом дворе ел кашу со шкварками, глядел на всех подозрительно. Кирилов при свидании с генералом признался:

— Ой, и горько жемне: не успев обрести, уже кровью обретенное обмываем… Александр Иваныч, ты жалость к людям имей!

Румянцев очень не любил, когда его учат.

— Велено мне тебя под своим началом иметь, — сказал он и письмо Анны Иоанновны показал Кирилову. — В мои воинские дела ты не лезь. Ты вот в обозе своем врачевателя зубов для башкир притащил. А я твоим башкирам последние зубы выбью! Государыня ко мне ныне опять милостива…

Румянцев был жесток — восстание топил в крови. Через холмы переползали пушки, и гром их разрушал последние мирные надежны. Кирилов, в коляску залезая, сказал Рычкову:

— Едем, счетовод мой… в Петербург! Жаловаться стану…

Бухгалтер отвез его к семье — в Самару. Ульяна Петровна, мужа завидев, руками всплеснула:

— Батька ты мой! Да, никак, убили тебя?

— Не, мать. Дай отлежаться. Ничего не сказывай мне…

Кирилова провели в дом, он пластом лег на лавку. Почтительный Рычков отирал с его лица чахоточный пот.

— Памятников себе не жду, — заговорил Кирилов. — Но вот подохну когда, останется после меня край великий, край богатейший… России старой — Россия новая!

***

Иван Кирилов тоже науку продвигал в желтизну степей оренбургских. А рядом с ним двигал пушки генерал суровый — Александр Румянцев. Несоответствие получалось: одной рукой для башкир школы строить, другой — в этих же башкир кидать ядра огненные!

А башкиры бунтовали. Оренбург обкладывали конницей, ни одного обоза в город не пропуская. Оттого в гарнизоне много народу за зиму вымерло — от голода, от стрел.

Кирилов говорил Пете Рычкову:

— С народом надобно не в сердцах общаться, а с сердцем! Любого злодея давайте мне — я ласкою из него пса верного сделаю…

Пока генерал Румянцев с пушками развлекался, Кирилов волею своей указал штрафы с башкир поснимать, чтобы они жито на семена торговали, стал их к труду на медных заводах приохочивать, а платить за работу велел честно — хлебом! Все эти «мягкости» сурово осудил в своих доносах к императрице Василий Никитич Татищев: возводил он вину на Кирилова, что тот «весьма много оным ворам (бунтовщикам-башкирам) в указах своих послабил». Где только Кирилов шахту какую откроет или завод новый поставит, Татищев тут как тут — опять с доносом. Мол, и шахта обвалится, мол, и завод этот сгорит; Кирилов же, если верить Татищеву, лишь о своих доходах печется («на свою персону прихлебствует»).

А в это время Кирилов с женою и сыном-малолеткою, бывало, куску хлеба радовались. Царица ему копейки из казны в карман не опустила: мол, и так проживет. Семью статского советника подкармливал Петя Рычков, у которого в Вологде родители да дядья были очень богаты с торговли. Но бодрости Кирилов не терял.

— Гляди, Петрушка, — говорил он Рычкову, — худо-бедно, а мы движемся… Сколь уже бастионов и городов заложили, карты составили. Эльтон солнечное затмение пронаблюдал, ныне он нижнюю Волгу описывает. Илецкая соль на рынок от нас поехала. Флот на море Аральском заведем. Гейнцельман, ботаникус ученый, немало уже травок ко здравию человека сыскал. Живописец Джон Кассель не токмо рисует, но и дипломатничает в орде хана Абулхаира… Чего бы не жить нам с тобой? Да вот, брат, помирать надо.

И ложился он помирать на лавку. Уже привычно. Топилась печка кизяком душистым. Через окошко — размером в лист бумаги писчей — текло светом пасмурным. Приходил священник. Приносил «святые дары». Убивалась с горя жена, руки своего кормильца целуя. Пугался сынишка, когда Кирилова к смерти причащали.

Но Иван Кирилович снова оживал.

— Ульяны Петровны, — жене говорил, — мундир мне… еду!

Издалека он соблазнял в письмах и рапортах императрицу посулами: «… земля черная, леса, луга, рыбные и звериные ловли». Недостатка у Оренбурга ни в чем нет — нужны только люди, чтобы край этот заселить и промышленно освоить. Он знал, чем надо искушать царицу-дуру: Кирилов посылал ей наборы камней оренбургских — порфир, яшму, агаты и малахиты редкостные. А по Руси уже струились слухи такие: есть далече землица, где воля вольная, а царем там сидит советник один, — и всех принимает с радостью. Из деревень нищих, из городов сожженных уходили искать эту землю солдаты беглые, каторжники да люди гулящие…

— Принимать всех, — распорядился Кирилов, — всех, хотя меня за это и не помилуют. Буду писать патронам своим, чтобы людей крамольных отныне не ссылали в края гиблые, где совы с них мясо дерут, а слали бы к нам…

И была у Кирилова мечта, еще давняя, устремленная к берегам морей, вечно ликующих, издревле Русь зовущих.

— Петя, — признался он однажды Рычкову, — неужто пришло время, когда от мечты той отказаться надо? Видать, уже не побываю я в Индии… Ладно, не я, так другие.

Петербург еще не ведал, что Кирилов населяет Новую Россию беглыми крепостными и солдатами. Они здесь оживали. Соха уже воткнулась в целину, и первые борозды украсили землю — черную, жирную, сытную… Сенат вошел к императрице с прошением от Кирилова.

— О чем он просит, этот прибыльщик? — удивилась Анна Иоанновна. — Ежели виноватого не в Сибирь на шахты ссылать, то где еще страшнее место найти, чтобы верноподданных запугать?

— Ваше величество, — вмешался князь Дмитрий Голицын, — только взгляните на карту. Вы ошибаетесь! Русский человек Сибири давно не боится, ибо чем дальше от Петербурга, тем вольготнее и прибыльнее живется. Даже каторга не стесняет мужика нашего больше, нежели стеснен он в отеческой части России. Хотите и далее народ свой пугать — так пугайте не Сибирью, а Оренбургом…

— Уговорил! — произнесла Анна Иоанновна и глазами стрельнула злобно на старого верховника.

***

Осенью 1736 года прибыл в Оренбуржье первый обоз с ссыльными из России. С утра сыпали тяжелые дожди, земля намокла, чавкала под ногами, леса шумели печалью. Поддерживаемый своим бухгалтером, Иван Кирилов вышел обоз встретить.

— Теперь заживем, — говорил. — Население прибывает…

Подводы подъехали, а на них люди под дождем мокнут. Да люди ли это? Приехали обрубки какие-то, от бывших людей оставшиеся. Привезли их — прямо из пытошных, после клещей и огня. У кого носа нет, у кого уши обрезаны, кто безглаз, кто обезножен. Словно куски мяса сырого завернуты в тряпки грязные. А одна бабка старая была на дыбе совсем изуродована. Перебитые руки ее к двум доскам привязали, чтобы кости срослись поскорее. И она, убогая, эти доски-руки под дождем растопырила. Так и сидит на телеге, будто квелая курица…

Кирилов, спотыкаясь, подошел к прибывшим.

— Господи, — простонал, — да кто ж вы такие?

— Присланы, барин… город городить. Прими уж…

— Не оставь в милости, — кричали вразброд, — не гони нас от себя. Совсем пропадем… Дай хоть помереть под крышею!

Ближе к ночи Кирилов велел печи топить, перья заточил.

— Я не стану молчать! — жене он сказал. — Ульяны Петровны, вы спите, а я писать сяду… в Петербург. Бессовестный я был бы человек, если бы промолчал, когда народ тиранство такое терпит, а членовредители в чинах высоких кровью их умываются. Прислали вот… от Ушакова да от Феофана Прокоповича — один по гражданским делам лютует, другой за духовные дела казнит.

Статская советница за голову схватилась:

— Батька ты мой драгоценный, да опомнись ты! С кем спорить-то хочешь? Ты думаешь, во дворце не знают о пытках? Или уши царицы заткнуты? Всё кровососы знают, они сами тому потатчики…

Кирилов озаглавил доклад свой: «О пытках и публичных наказаниях, о натуральных смертях, о долговременном держании (в тюрьме, понимай) и о протчем, к тому же касающемся». Деловито разбил он доклад на пункты, за каждый из которых его могли на колесе четвертовать. В избе уфимской сидючи, под шум дождей осенних, советник статский обличал Анну Иоанновну в преступлениях против народа…

На полатях причитала жена, беду предчуя.

— Оставь, — молила мужа. — Замучают ведь тебя изверги. Подумай о себе, где ты завтра проснешься? Вот приедут и схватят, как Жолобова схватили! Не гляди, что далеко забрался — у них руки-то длиннее твоих.

— Не мешай, мать, — отвечал ей Кирилов. — Я не за тем сюда ехал, чтобы весь срам российской жизни пред дикими племенами выявлять наглядно… Уймись ты, все равно напишу и отправлю!

Средь прочих пунктов Кирилов спрашивал у властей столичных: в чем состоит воспитательный смысл вырываний ноздрей до обнажения

носоглоточной кости? На что уродовать человека, созданного по подобию божиему? И почему, спрашивал, людей под следствием томят многие годы: войдет в тюрьму молодым, а выходит стариком, и ему говорят: «Извини, брат, ошибка вышла…»? «Калек, к труду неспособных, — писал Кирилов, — вы вот мне прислали, а подумали ли в Петербурге, что калеками Арала и степей не освоить?..»

Великое дело свершил Кирилов — многие тысячи людей он спас от огня и дыбы пытошной.

Императрица указала Ушакову и Феофану Прокоповичу:

— Образумьтесь! Допрос виноватого не обязателен пыткой быть. Эдак-то вы всех людей мне переломаете… Помучай немного, но не тирань, и, пока не ослабел еще, сразу в Оренбург его!

***

А в Оренбуржье уже растеплело… Кирилов перед смертью жену с сыном из избы выслал, Рычков руку его в свою взял и заплакал.

— Не плачь, друг мой. Весна скоро… хорошо будет…

А умирал он в черной меланхолии. Раньше мыслилась ему землица райская: сады в цвету белом, дети пригожие в чистых рубашках, жеребиный скок по холмам чудился в ржанье вольном, да чтобы бабы вечером шли с поля домой с граблями, сами веселые.

— Не удалась жизнь, — говорил Кирилов.

Все случилось иначе: скорбные виселицы на распутье шляхов, пальба пушечная, лязг драгунских подков и мужики без ноздрей, и бабы пугливые. Кирилов, на лавке лежа, содрогался телом:

— Не хотел ведь того, иного желал… Прости меня, боженька; может, и не надо бы мне сюда ехать?

В полном отчаянии он отошел в жизнь загробную. И рука его, к далекой Индии протянутая, упала в бессилии. Снег уже таял, когда его хоронили. Петя Рычков тащился под тяжестью гроба, и край гробовой доски больно врезался в плечо оренбургского бухгалтера.

Великого рачителя и наук любителя не стало у нас!

***

Еще земля не просохла на могиле Кирилова, как бурей налетел на Оренбургский край Татищев:

— Плохо здесь все! Напортили тут… изгадили! Родовитый дворянин ничего не прощал простолюдину.

— Человек из подлого состояния вышедши, — утверждал Татищев, — географии познать не способен. Вот и карты все, Кириловым сделанные, худы и неверны. Так и ея величеству отписывать стану…

Карты Оренбургского края были правильны! Татищев и сам знал это. Но спесь старобоярская задушила в нем справедливость. Аки пес, слюною брызжа, накинулся потом Никитич на канцелярию:

— Почто порядку уставного не вижу? Отчего бумаги дельно не пишете? А ты чего тут расселся, будто мухомор какой? Встал перед ним (руки по швам) рослый юноша:

— Рычков я Петр… при бухгалтерии состою.

— Бухгалтер? Ну, значит, ты и есть ворюга первый! Донос за доносом — на мертвого. Брань и кулаки — живым. Попался на глаза Татищеву ученый ботаник Гейнцельман:

— А ты почто на носу своем очки водрузил? А ну, сними их сразу же.

— Робкий ботаник очки снял и поклонился Татищеву. — Ты меня зришь? — спррсил его Татищев. А коли так, так на што тебе очки эти нашивать? Выяснилось, что «ботаникус» по-русски едва понимает.

— Ах, так? — озверел Татищев — Так за што же ты, очкастый, деньги за службу брал? Гнать его в три шеи отсюда… Только выгнал немца, как напоролся на англичанина:

— Джон Кассель я, живописец и бытописатель здешний… Изгнал и британца за компанию с немцем.

— Всех прочь! Набрал тут Кирилов дармоедов разных, которые и по-русски-то не разумеют. А в дерзостях еще мне являются…

Скоро из иноземцем остался в Оренбургской экспедиции только британский капитан Эльтон. Но Татищеву просто было до него никак не добраться: Эльтон описывал земли, что лежали возле того озера, которое называется его именемозеро Эльтон (возле Баскунчака).

Коли уж взялся ломать, так ломай, чтобы все трещало. Вот Татищев и сокрушал…

А когда все начинания Кирилова были уже во прах повержены, тогда Татищев нацелился на… Оренбург!

Пригляделся он к городу и сказал с подозрением:

— Город то… ой как худо поставлен!

Тут сразу все закачалось.

— Перенести Оренбург, — распорядился Никитич. — Перетащим его в место лучшее, какое я отыщу…

Очень был деловит Татищев и небывало скор на руку:

— Эвон место ниже по реке, возле горы Красной… Посему и приказываю: кириловский Оренбург задвинуть за штат, а новый город офундовать у Красной горы! Только в России такое и возможно: поехал Оренбург со всеми причиндалами на место новое, а там еще с весны трава пожухла, дров совсем нету, люди там мерли, как мухи, сами неприкаянные, опаленные солнцем…

<При следующем губернаторе, И. И. Неплюеве, в 1742 г. город Оренбург был снова перенесен на другое место, где поныне и находится. На месте же «офундования» Татищевым нового Оренбурга влачила жалкое существование казачья станица Красногорская.>.

А на том месте, где Кирилов заложил столицу степной России, жизнь угаснуть не смогла. Сначала там прижился тихий городок, где жители топили сало да мяли кожи; мужчины взбивали масло, а женщины долгими зимними вечерами вязали дивные пуховые платки. Кирилов верно соорудил город, на добром месте, и сейчас там живет гигант промышленный — по названию Орск! После Кирилова даже могилы не осталось, но он еще ждет памятника себе. Только не в уютном Оренбурге, а в грохочущем металлургией, огнедышащем нефтяным заревом Орске… Там! Именно там надо ставить памятник российскому прибыльщику, который умер в нищете, оставив потомству богатства несметные.